

СЮЖЕТ СУДЬБЫ

Светлана Шнитман-МакМиллин

Из критиков в писатели

(из литературной биографии Георгия Владимова)

В 1955 году двадцатитрехлетний критик Георгий Волосевич, публиковавшийся под псевдонимом Георгий Владимов, был включен в шестерку делегатов от Ленинграда на Третье всесоюзное совещание молодых писателей.

В. Кардин¹ пишет, что, встретив Владимова на семинаре молодых критиков, они с Марком Щегловым убедили его переехать в Москву. В Ленинграде оставалась вышедшая из лагеря мать, но жить было негде, они ютились по разным углам, денег не было и печататься не удавалось. «Один черт...» — вдохновенно решил Владимов². С двумя чемоданами, содержащими в основном книги, он сошел с поезда на московский перрон 30 января 1956 года, как раз накануне XX съезда КПСС.

Кардин великодушно предложил ему кров, поделив пополам книжными шкафами свою единственную комнату в коммуналке. Въехав за шкаф, новый жилец «...первым делом поинтересовался: не последний ли этаж? Утвердительный ответ заставил его поморщиться. Считалось, будто жилье на верхнем этаже прослушивается с чердака... Прослушивание, слезка, перлюстрации относились к расхожим темам Владимова».

Если Кардин думал, что обретет веселого и искрометного товарища по литературному цеху, расчет оказался без хозяина. Владимов был замкнут, немногословен, «вел свою игру», часто не посвящая Кардина в ее ходы и предпочитая держаться одиночкой: «Он не мог, не хотел... “раствориться в коллективе”. Поскольку обладал высокой степенью нерастворимости».

По условиям прописки в Москве долго оставаться у Кардина он не мог. На смену ленинградским пришли московские «углы». Непостоянство заработка означало сложность оплаты жилья. Отсутствие прописки было опасно из-за возможности административного выселения из Москвы. Бытовая неустроенность тяжело влияла на состояние молодого литератора. Бесконечные проблемы, мысль о трудном положении матери и постоянное недоедание давали себя знать. И главное, что было ему особенно тяжело, мешали его творческой работе и, как он чувствовал, внутреннему росту. Это особенно остро видно по почти отчаянному письму:

«1956, 5 апреля.

Здравствуй, мама!

Получил твое письмо. Что случилось с твоей рукой? Какая новая болячка свалилась на мою лысеющую голову? Я, к сожалению, ничем не могу помочь сейчас, сам не знаю, как доживу по получения каких-либо денег. Едва вот наскреб на конверт, а гонорар будет не раньше 25-го. И то — хорошо, если будет.

Со статьей вышла самая обыкновенная задержка. К этому я в последнее время так привык, что более ничему не удивляюсь. Сначала разводят руками и говорят: “Ах, черт возьми! Как талантливо, как здорово, как хлестко! Вот так надо писать, а то

ведь у нас повальная серятина и тягомотина”. А потом говорят: “Видите ли... вот мы тут читали... знаете, как-то оно у вас это самое... залихватски, что ли? Своеобразно как-то слишком, вы понимаете? Нет-нет, вы не подумайте, что мы предлагаем вам испортить... боже упаси! Сейчас такая борьба за интересность, а мы будем прижимать одного из самых талантливых и смелых авторов. Но все-таки надо это как-то, знаете, отрегулировать, смягчить, округлить... этак, знаете ли, унять полет фантазии. В общем, подумайте, подумайте, вам видней... и придите недельки через полторы”. Вот такие истории повторяются с каждой моей вещью, а между тем на страницу идет самое дерьмо, от которого все носы воротят. Да в этом, собственно, и сама редакция признается с сокрушением.

Вещи, над которыми я работаю не меньше недели, возвращаются ко мне с пометками, а то, что пишется левой ногой за два-три часа, идет безоговорочно. Мне уже говорят: учись писать проходной материал, с ним меньше мороки, никто на него не обращает внимания, он проходит через оба уха без какой-нибудь ощутительной задержки. А на ваших вещах взгляд не может не остановиться, вот и пеняйте на себя. Никто не назовет меня бездарным или халтурщиком, только я хожу голодный и не могу продать изделий своего труда.

Хочу, наконец, развязаться с критикой. Отобрал пять лучших своих рассказов и отделяю их до филигранной ясности. В критике нельзя работать талантливому человеку, это не времена Белинского и Писарева, когда нуждались в истине и жаждали схватки. Теперь критика что-то такое формулирует, задевает какие-то авторитеты, они обижаются и давят своими афедронами на редакции. Нет, я изберу другой путь. Я превращу свои недостатки в достоинства. Я пишу о многом ярко и хлестко — прекрасно, пусть это будут яркие и хлесткие рассказы, пьесы, очерки. Они не заденут ничьих интересов, но зато я скажу все, что хочу сказать. А на авторитеты мне наплевать. Стоит ли ходить голодным, чтобы доказать какому-то Кочетову, что он не Достоевский? Думаю, не стоит.

Все это так, но вот денег нет. Нет никакой базы. У меня сейчас такая злоба, что дайте мне 1000 рублей, и я переверну весь мир, по крайней мере, мир литературный и театральный. Только злоба и поддерживает мои силы, потому что изголодался я до озверения. Обидно вспоминать свою молодость. Почему каким-то гнусным, тупым и пошлым пижонам не приходится унижаться из-за 100 рублей, почему они ездят в папиных “Победах” и имеют собственные кабинеты в шестнадцать лет отроду? И почему ко мне так несправедлива судьба? Сколько я себя помню, я всегда голодал: голодал в Чалдоваре, голодал в Саратове, впроголодь кормили нас в Кутаиси, промелькнуло полуголодное студенчество, и вот голодаю теперь³. Когда это все, наконец, кончится? Неужели только тогда, когда я наживу катар желудка и буду не способен радоваться жизни?

Не хочется писать все эти жалобы, но таково у меня сейчас на душе. А ты требуешь денег, и хозяйка питерская требует денег, и все кредиторы смотрят косо, хотя живут намного лучше моего. Когда вот так и подумаешь: а не удавиться ли мне? Но для этого слишком много у меня злобы.

Ладно, не буду тебя расстраивать, буду писать о фильме “Мексиканец”. Завтра надо сдавать ее в “Правду”⁴. В общем, читай “Правду” и “Совкультуру” — должен же я, наконец, появиться!

Ну, пока. Выздоравливай. Жму руку.

Жора.

P.S. Письмо я, разумеется, передал в ЦК. Дали три телефона, по которым велели звонить, начиная с 15–20-го. Пока еще не звонил, конечно»⁵.

Но пришел июль 1956 года, и ситуация совершенно изменилась. К своей неожиданной и огромной радости, Владимов получил приглашение от «Нового мира», редактором которого был в то время Константин Симонов, поступить на постоянную работу в журнал редактором отдела прозы. По словам В. Кардина, «Симонов безошибочно почувствовал силу, своеобразие владимовского таланта и вознамерился использовать его во благо журналу, вместе с тем осознавая, пусть и не до конца, что совершает перемену к лучшему в жизни бездомного литератора с острым пером, способным неплохо послужить “Новому миру”».

Я приведу радостное и с интонацией легкого триумфа письмо Владимова к матери полностью, так как оно интересно и с точки зрения его личной судьбы, его ожиданий и надежд, и как описание его видения обстановки, условий работы и главных сотрудников ведущего в то время литературного журнала:

«6/VII, 1956.

Приветствую Вас!

Нет, мамаша, не мытари мы. Ще не вмэрла Украина, и мадмуазель Фортуна таки поворачивается в нашу сторону.

13-го июня мистер Александр Ю. Кривицкий, заместитель главного редактора журнала “Новый мир”, вызвал меня в свой шикарный кабинет и, предложив болгарскую сигарету, сделал мне такой ангажемент — занять штатную должность редактора отдела прозы. Первое предложение я отклонил, на второе — после многозначительной паузы — дал согласие. Во время этой паузы я прикинул все за и контра: на курсах еще ничего не прояснилось, прописка остается в трагическом статус кво, в кармане лежит последняя пятерка, а в Питере — Ваше Страждущее Величество. Словом, я сказал свое решительное ДА, и мы тут же приступили к формально-деловой стороне вопроса.

Прежде всего, — как это получилось. Эти несколько месяцев я жил только на внутренних рецензиях и даже не подозревал, что Борис Германович Закс (они, между прочим, оба — т.е. Закс и Кривицкий — экс ностер^б), зав. отделом, внимательно ко мне присматривается. Им нужен человек со вкусом, самостоятельно мыслящий, свежий и не скомпрометированный — воск, из которого они вылепят все, что им угодно. По-видимому, я показался им таким, но, конечно, подтолкнуло их и мое пиковое положение, о котором они прекрасно знали и всеми силами старались помочь. По своей наивной неприязни ко всякой халтуре, я делал эти пустяковые рецензии все-таки не “левой ногой”, как мои многочисленные коллеги, а вкладывая в них почти полную производственную мощность. (Они ведь все-таки подписывались именем Георгия Владимова, а я считал, что это имя не должно быть скомпрометировано даже в глазах никому неизвестного автора, который, может быть, никогда не выбьется в люди.) Разумеется, я тогда не знал, что это сыграет роль, просто делал порученное дело хорошо, и это им понравилось. Закс присмотрелся ко мне и рекомендовал. Ему давно нужен был редактор, но не было подходящей кандидатуры.

Теперь остановка только за Симоновым, который сейчас в отпуске, но я думаю, что возражать он не станет, тем более, что сам же в августе прошлого года хотел посадить меня в отдел критики. Во всяком случае, прописку они мне устраивают немедленно, с понедельника я уже приступаю к своим обязанностям, а насчет жалования — до окончательного оформления — они мне гарантируют регулярно 1500.

Условия работы: есть гарантийная ставка — 1200, и кроме того — всякие мелкие приработки (ответы на письма, обзоры, рецензии другим отделам и т.д.), что дает в общей сложности 2500–3000. Работают они с 1 часу дня до 6 вечера, один

день в неделю — “творческий”, то есть “а в субботу мы не ходим на работу”⁷. Отпуск — месячный через 11 мес., и еще по согласованию с главным редактором так называемый “творческий отпуск”, с условием написать какую-то вещь (крупную) и сдать в свой журнал.

Раз в три-четыре месяца — командировка на две-три недели. Вот, пожалуй, и все. Разумеется, их будет устраивать, если я буду выступать в других органах: это повышает авторитет журнала и удовольствие авторов, что их рукописи читает не какой-нибудь замухрышка, окончивший филфак или Литинститут, а — писатель.

Насчет квартиры они не дают никаких осязаемых гарантий, но (...) ⁸. Во всяком случае, можно твердо рассчитывать на загородную зимнюю дачу от Союза, т.к. журнал находится в ведении ССП.

В общем, считаю, что мне крупно повезло, да это мне говорят и все страждущие, не скрывая своей зависти. Журнал очень солидный, это не “Совкультура”, которая побоялась дать мне справку для прописки, и в которую я, по этой причине, больше ни ногой и не дал им обещанную статью. Это первый журнал в стране, через него, а в особенности через отдел прозы (который, если ты раскроешь журнал и посмотришь, занимает две трети объема), проходит вся лучшая и прогрессивная литература. В отделе нас будет двое — я и Закс, но он в сентябре уходит в отпуск, и я буду сидеть там один. Закс — прекрасный редактор, едва ли не лучший редактор среди журнальных, все нынешние знаменитости прошли через его руки, замечательный эрудит и тонкий ценитель. Сам он, правда, пишет неважно и мало, но это явление очень распространенное. Он из тех, которые могут научить, но не могут сами. Все поздравляют меня, говорят, что год работы с Заксом — это все равно, что окончить аспирантуру. Как человек — очень симпатичный, порядочный и сердечный. Я как будто писал тебе, что он поднял кампанию за оставление Владимирова в Москве, когда ему кто-то сказал о моем положении. Не знаю, правда, как он отнесется к моему роману, который я ему представлю вскорости, — здесь он невероятно жесток и придирчив, — но вообще мой критический стиль он хвалит и находит даже, что у меня можно поучиться стилю. Словом, если мне и повезло, то — благодаря ему и — насчет его.

К сожалению, к Заксу неважно относится нынешняя верхушка журнала (Кривицкий, Симонов), и сам он их не очень уважает, — он ведь единственный уцелевший после разгрома “Нового мира” в 1954 году, и для него идеалом шефа является Твардовский, а не Симонов. Ходят слухи, что вновь откроется “Красная новь”, где шефом будет Твардовский, и тогда Закс перейдет к нему, — но не раньше, чем подготовит меня. После его ухода я сяду в его кресло и буду единственным ментором по части драматургии и прозы, т.е. редколлегия будет читать только то, что пройдет через мои руки.

Пока что работа у меня будет несложная — пробежание глазами всей груды поступающих рукописей и управление оравой внешних рецензентов (к каковой ораве я принадлежал до сих пор) — отдавать рецензентам вещи получше или сомнительные — читать самому и передавать Заксу. А он постепенно будет вводить меня в сложнейшую механику художественного редактирования от рассказа — к более крупным и сложным вещам.

Вторая фигура — это Кривицкий. Деляга и циник с головы до пят. Пальца в рот ему не клади. Человек он невероятно пронырливый и оборотистый, на его плечах держится весь журнал, и недаром Симонов везде таскает его за собою — из “Нового мира” в “Литгазету” и обратно в “Новый мир”. Ходит он всегда в полуспортивном костюме и производит неизгладимое впечатление эдакого американского продюсера, босса из Рокфеллеровского центра. В США он был бы, безусловно, звездой третьей

величины, поскольку в его маленькой фигурке обитает гладиаторская натура финансового гения, очень осторожного, но постоянно готового рискнуть и — рискнуть крупно. По профессии он — очеркист, и достаточно сказать (...) ⁹. Сам он теперь не скрывает, что сделал на этом карьеру. Ведь ничего этого не было известно. Он дьявольски работоспособен. И уж если взялся проверить для меня дело с пропиской, то — как все меня уверяют — скорее Волга потечет обратно из Каспийского моря, чем это дело не выгорит у маэстро Кривицкого.

Ну и, наконец, сам “шеф” или “старик”. Его, оказывается, невозможно представить себе без Кривицкого. Это своеобразный симбиоз трудолюбивого рака и пышной актинии. Подспудное делячество и оборотистость Кривицкого позволяют Симонову постоянно сохранять лениво небрежную грацию, преувеличенный демократизм в рукопожатиях с авторами (ведь ругается с ними Кривицкий, а он только сочувствует им и пожмает плечами) и спокойную респектабельность человека творческого, не любящего копаться в навозе и дрызгах. Он дает журналу свое имя и несколько часов в месяц, а вообще — его в редакции почти не бывает. Но говорят о нем, что он — тоже порядочный, деятель крупного масштаба, только более лощеный, деликатный и обаятельный.

Вот каковы эти три фигуры, под руководством которых мне предстоит пройти журнальный искус. Если каждого взять понемножку: у Закса — его эрудицию, умение и тонкий вкус, у Кривицкого — его оборотистость и замечательную способность делать из мухи слона, а потом торговать слоновой костью, у Симонова — его элегантность и сохранение прекрасной мины во всех перипетиях игры, с полным знанием того, куда и как сильно дует ветер, — если это взять, усвоить и скомбинировать, то из меня со временем выработается идеальный редактор, преуспевающий писатель.

В общем, начнем помаленьку. Пока что приступлю к работе и оформлю все свои бытовые неурядицы. Я еще не получил твоего ответа на вопросы, поставленные в прошлом письме, — они, разумеется, остаются в силе. Кроме того, я через неделю-полторы смогу выслать тебе деньги. А потом решим, как нам поступить дальше. В смысле творческом — рассказы предложу в свой журнал, только чуть попозже, когда освоюсь, сейчас заканчиваю статью в “Литгазету” и продолжаю писать роман. Это будет вещь.

На этом кончаю. Жду твоих писем и жму твою страдальческую лапу.

Целую, Жора.

Получил твое письмо от 13.6. В ЦЕКА звонил много раз, мне дали другие телефоны. Но пока никуда нельзя дозвониться».

Владимов твердо надеялся, что работа в журнале решит вопрос о прописке в Москве. Он не знал тогда, что после XX съезда КПСС, прошедшего в феврале, вышел «на мое кривое счастье» указ, сделавший московскую прописку чрезвычайно трудной для иногородних. Поэтому начальное сотрудничество в «Новом мире» было на очень неопределенной основе, ему платили как внутреннему рецензенту.

На лето он снял комнатку на даче под Москвой и сделал в свои 24 года отроду важнейшее приобретение, о котором с нескрываемым восторгом писал матери в письме от 24 апреля 1956 года:

«За 375 целковых купил я себе шикарный стол и четыре стула. Все это дачная мебель из алюминия, брезента и дерматина, которая складывается в чемоданчик и покрывается чехлом, и все вместе весит не более 15 килограммов. Утром я беру этот

стол и один стул, укладываю чемоданчик, кладу в него бумагу и рукописи и ухожу в лес, как учили нас наши плодovitые и трудолюбивые классики. Это мой первый настоящий стол и за ним я пишу мой первый роман, стараясь при этом обходиться с моим столом елико возможно деликатнее, чтобы оставить ему побольше шансов дожить до музея...»

Самым близким и любимым другом в Москве был Марк Щеглов, молодой и очень талантливый критик, умерший 2 сентября 1956 года в возрасте 30 лет, но оставивший глубокий след в литературной критике той поры и сердцах, и умах своих современников. С.Я. Маршак, по словам Владимова, говоря о Марке Щеглове, сравнивал его смерть с трагедией ранней гибели Д.И. Писарева¹⁰. Владимов очень болезненно воспринял его смерть:

«...Ты, наверное, уже прочла в “Литературке” некролог о Марке Щеглове. Он умер в Новороссийске 2 сентября (по ошибке напечатали — августа) от туберкулезного менингита. Я ведь рассказывал тебе, что у него костный туберкулез, он ходил на костылях. Очень тяжело было встретить известие о его смерти — он был человек редкого обаяния и очень талантливый, на него возлагали большие надежды (и — били тоже весьма порядочно!). Мы тут все ходим, как потерянные, а вдобавок [...зачеркнуто] Кочетов искромсал этот некролог и снял все подписи наши, которые начинались именами Твардовского, Федина, Погодина, Эренбурга, Чуковского и других. Что вы, говорит, носитесь с вашим Щегловым, ведь он даже не член Союза. Может быть, и меня когда-нибудь так. Очень тяжело на душе...» (6.IX.1956.)

Мария Оскаровна, принимавшая близко к сердцу все переживания сына, в надежде успокоить и выразить свое сочувствие к его потере, написала и послала ему стихотворение «На смерть Марка Щеглова». В ответ он писал о друге, навсегда оставившем глубокий след в его душе:

«Спасибо за стихи о Марке Щеглове. Только никакими словами человека не вернешь. Это был на редкость симпатичный парень, очень веселый и человечный, несмотря на все свои недуги. Для меня его гибель — особенно большая потеря, потому что он был моим единственным “своим” человеком в Москве. Теперь она для меня как-то сразу опустела. За эти несколько месяцев мы с ним крепко сошлись, — я ведь писал тебе, что у него провел свое 25-летие, и вообще бывал на каждой неделе и виделся во всех редакциях... Марк умел притягивать людей, как магнит, вокруг него как-то сами собой возникали группы, кружки, общества, компании. А сам он никогда не делал из своей болезни пиф-паф-ой-ой-ой, — ей Богу, Островский мог бы позавидовать его спокойному и веселому мужеству. Он ел, как фламандец, любил выпить, поболтать, посмеяться с девицами, устроить какую-нибудь каверзу, но все удивительно мягко и человеколюбиво. Он никогда не жаловался на свои болезни, и это его погубило. 19-го августа я провожал его в Анапу, помог с чемоданами, он был очень весел, говорил: “Кто куда, а я в Анапу, вир фарен нах Анапа”¹¹, мы лопали в жаркий день мороженое, и он рассказывал, что где-то вычитал о французских авто-плакатах на опасных перекрестках: “Водитель! Будь осторожен. Смерть — это надолго”. А смерть уже сидела в нем... Будут еще появляться статьи — свет угасшей звезды. Но уже никогда не будет ничего в маленькой комнатенке в Электрическом переулке, мимо которого мне теперь страшно и проходить. Жамэ, Жамэ!¹²

Да, тяжело и грустно, но — живые борются! С этой мыслью я просыпаюсь утром и засыпаю вечером».

Точной даты этого письма нет, но ясно, что оно было написано не позднее конца октября 1956 года.

Упорства голодному и бездомному автору было не занимать. После смерти Сталина времена менялись быстро, литературе и периодике нужны были новые голоса, взгляды, интонации, и время было благоприятным для начинающих литераторов. Сам Владимов считал, что он «попал в струю», и надежды его на бытовое устройство, то есть прописку, были очень сильны, и тем тяжелее были разочарования:

«1956, 16/V.

Здравствуй, мама!

Времени мало, поэтому пишу коротко. В московской прописке мне отказано. Даже в “Совкультуре” и Союзе СП не могут мне дать необходимой справки. Поэтому принимаю решение: поселиться под Москвой, километрах в 30–40. Это сделать легче, здесь помогут мне Симонов или (сегодня собираюсь зайти) Тихонов как депутат Верх. Совета.

Пока сниму дачу — это обойдется рублей 500 за все лето, а потом перейду на зимнюю дачу, где можно будет прописаться постоянно и ездить в Москву по мере надобности. Конечно, на работу в этом случае устроиться труднее, да и ездить каждый день — тоже не сладко, если учесть, что в редакции нужно сидеть 9 часов, а времени на писание не остается. Но этот вопрос решится потом, а пока надо решать дела квартирные.

Я тебе уже писал, чтобы ты собиралась к отъезду. Приемник можешь продать, можешь оставить — это как тебе нравится. Но вообще от лишнего желательно было бы освободиться. 22-го выйдет тираж — м.б., к 26–28 что-нибудь выиграешь. Тогда перешли деньги мне телеграфом, чтобы я мог за тобой выехать. У меня пока негусто и предстоят расходы.

Я пока буду договариваться о комнате на двоих. Не знаю, удастся ли тебе прописаться, но попробуем. Может быть, пропишут как пенсионера и как мать уже прописанного. Когда пропишусь, дам телеграмму и сообщу адрес.

Вот все пока. Пиши на адрес: Москва К-9, до востребования. В крайнем случае, если не удастся прописаться и под Москвой, придется переселиться в Орел и там, под эгидой Лешки¹³, легче будет осуществить прописку. Об этом — сообщу особо.

До свидания. Жора.

П.С. Москва хоронит Фадеева¹⁴, все взбудоражены и гадают насчет его предсмертного письма в ЦК. Дело в том, что застрелился он, будучи совершенно трезвым. Это — точно, и подтверждено видевидами его незадолго до смерти. Г.В.»

«Переписка из двух углов» Владимова и его матери, двух одаренных, ярких и жизнеспособных людей в течение нескольких лет, достойна отдельной публикации. Феноменальное количество мозговой энергии, прожектерства, бумаги и чернил посвящено возможностям нахождения или приобретения хоть какого-то жилья для двух бомжей. Кроме планов перевоза Марии Оскаровны и прописки обоих в Орле, где Владимов, свободный писатель и критик, проводил бы у матери по нескольку месяцев, снимая «угол» в Москве, письма содержат всевозможные варианты устройства: накопить деньги и купить «угол» в столице, обменяв его потом на комнату в Ленинграде, где Георгий мог бы прописаться; купить «угол» в Ленинграде и обменять его на комнату под Москвой в сельской местности, где они могли бы жить вместе;

купить комнату или часть домика для матери в Крыму, где сын мог бы проводить, занимаясь творчеством, отдыхая и отъезжаясь, по нескольку месяцев в году; занять денег и купить часть домика с участком под Москвой, но участок сдавать, расплачиваясь с долгами, — и так бесконечно.

Однако, получив работу в «Новом мире», Владимов жил на подъеме, надеждой и ожиданиями. И наслаждался, чувствуя, что после долгих лет экзистенциального одиночества он попал в окружение людей, близких ему по духу, думающих и заботившихся о нем:

«10.10.1956.

Здравствуй, мама!

Получил твое послание и конвертик, которым и воспользуюсь, не без душевной приятности, так как бежать на почту нет времени, а редакционные — сдаются незапечатанными, их проверяют в отделе писем.

Дела мои, разумеется “по-видимому” и “по-прежнему”, хотя в хлопоты включилась вся редколлегия. Тербят Симонова со всех сторон, и он поклялся по телефону всеми богами, что все обтяпает через несколько дней, так как он сам в этом «кровно заинтересован».

Во всем остальном шефы безусловно идут навстречу. В субботу ко мне в кабинет пришел Кривицкий, расспрашивал, как у меня с деньгами, много ли могу посылать матери и т.д., потом заявил, что хотел бы видеть меня в модном костюме, и выписывает мне, какими-то сложнейшими комбинациями, одному ему ведомыми, деньги — на пальто, костюм, ботинки и прочее. Просил составить смету расходов и представить ему, и при этом быть “по возможности нескромным”. Меня это удивило и обрадовало — с таким народом можно работать. Как неожиданны люди! — а мне со всех сторон говорили: не идите к этому бездушному цинику, за копейку продаст и т.д. и т.п.

А Дудинцев, который знает людей, сказал мне: “В самое смутное время, когда роман висел на волоске — или вознесут до небес, или угробят на всю жизнь — Кривицкий заключил со мной договор на новый роман, выплатил авансом 15 000. Может быть, это только расчет, но я этого никогда не забуду”.

В общем, я не теряю надежды, потому что дело делается, и Симонов, действительно, очень загружен в Союзе, так что трудно урвать несколько часов и обтяпать мои дела, — но сделают они обязательно, потому что это и филантропия, и расчет одновременно...

Да, вот так и живу: не хлебом единым! Работа чертовски увлекает, забываешь и о мансарде, продуваемой со всех четырех сторон, и о том, что “у меня нет теплого платочка, а у тебя нет теплого пальта”¹⁵. Но теперь это, слава Богу, будет, раз мои шефы хотят видеть меня на коне и в новых латах.

Как видишь, перспективы передо мной захватывающие, стоило ради этого голодать и мытариться на романтической мансарде... Вообще, теперь, после всех ведерниковых метаний¹⁶ я вдруг почувствовал почву под ногами, увидел в руках канат, за который можно крепко уцепиться, и он — вытянет меня из засасывающей трясины нищеты. К весне надеюсь закончить роман, у меня уже четверть написана, — тогда можно уже будет вздохнуть спокойно и позволить себе небольшой отдых. Может быть, даже — поехать на юг, к Черному морю, которого я не видел уже 10 лет. Так охота посмотреть на наше Махинджаури, обожраться хурмой и мушмалой, сползть на Зеленый мыс, куда мы плавали с Генкой¹⁷, когда не совсем понимали, что человек — смертен».

Так как жизнь в неотапливаемой комнате подмосковного деревенского дома была очень неуютной, он проводил почти все время в редакции:

«У меня все по-прежнему. Ожидая Симонова, который должен со дня на день прибыть из Бельгии, но все почему-то не прибывает... С каждым днем все труднее и труднее, дело идет к зиме, а я все езжу на свою дачу, где мою романтическую мансарду обдувают всевозможные прозаические ветры. Фактически езжу только ночевать, потому что работать “на свежем воздухе” невозможно. Хуже всего то, что писать негде, — вот я и торчу в редакции с 9 утра до 11 вечера, но это, конечно, не то. С утра начинаются бесконечные телефонные звонки и стрекотание машинок, да и вообще — раз пришел в редакцию, там дела находятся: работа дураков ищет. А к вечеру голова так устает, что едва одолеваю одну-две странички. Переехать же в город и снять комнату не могу, ибо не прописан. В общем, живу на бивуаке и на колесах, увиливаю от тюрьмы и от сумы, работаю на полную мощность и не получаю при этом зарплату. Этим и измеряется моя любовь к литературе». (25.12.1956.)

Симонов, очень заботившийся о своих сотрудниках, вернувшись из своей поездки, немедленно начал хлопотать за Владимова: *«Он вставал в 7 утра и специально приезжал к 9-ти часам в Моссовет со своей дачи, сидел с портфельчиком в прихожей у секретаря, некоего Родионова. Тот куражился, дважды не принял, несмотря на депутатство, звезды Героя и всероссийскую славу. Наконец, сообразовал допустить, и позволил прописку на 6 месяцев». К Новому году надежды Владимова на решение бытовых проблем ожили:*

«На Новый год загадали мне много денег и большую комнату, — как жаль, что я материалист и сомневаюсь в этом. Тем не менее, Новый год встретил сыто и распивочно, в одной литературно-театральной компании. Веселились до утра и весь день 1 января... Живем мы, точно в кратере вулкана: горячо и весело, но каждую минуту ожидаем взрыва...

Ну, пора кончать. Передай приветы всем, кого встретишь. Скажи кредиторам, что долги начну отдавать с первой же зарплаты, и тебе пришлю. Будь здорова, пиши.

Остаюсь твой непутевый и страждущий сын, которого мало привлекает перспектива иметь под боком милую, умную, тонкую и грациозную¹⁸. Чорт их всех дери, мне нужна хата!»

В конце 1957 года, когда реабилитированная мать получила комнату на Васильевском острове, Владимов все-таки официально прописался у нее в Ленинграде, снимая в Москве комнатку, за которую платил почти половину зарплаты. Собственно, проблемы прописки были окончательно решены только после того, как он женился на москвичке Ларисе Теодоровне Исаровой в 1959 году.

В «Новом мире» Владимов проработал три года. Самой важной и значительной работой этого периода он считал внутреннее редакторство романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым»: *«Я ехал в метро, смотрел на людей и думал: “Вот вы не знаете, какую я бомбу везу в портфеле”»¹⁹. В письме от 6 сентября 1956 года он писал матери об этом романе и об атмосфере того времени: «Прочти в 8, 9 и 10 номерах нашего журнала роман В. Дудинцева “Не хлебом единым”. Вот это литература, а ты хвалишь какого-то Казакевича... Борьба идет страшная, в покое не оставляют даже мертвых». Энтузиазм его не утих через месяц: «Как по-твоему, ничего себе романчик? Чувствуешь ли и мою твердую редакторскую руку? Ведь это (и рассказ Гранина “Собственное мнение”) — моя первая работа».*

Как редактор Дудинцева Владимов оказался в самой гуще событий, связанных с романом. Это было то, к чему сам Владимов стремился всю жизнь, — литература влияла на саму жизнь, меняла ее и людей, которых она затронула:

«Вокруг его романа заворачивается большая буча, каждый день поступают письма, приходят читатели, и теперь — как редактор книги — я в гуще разбуженных страстей. Пригласили нас с автором на две читательские конференции, где оба будем выступать с речами, может быть, приедем в Ленинград. На днях явились изобретатели, я думал, что они меня растерзают — в них что-то от протопопа Аввакума, готовы на Голгофу, на дыбу, на костер. В этих шальных чудачках, живущих не хлебом единым, — фанатиках до мозга костей чувствуется огромная неукротимая сила, невольно думаешь: какова же должна быть та стена, о которую эта сила все-таки разбивается! Теперь они осмелели, почувствовали, что ими занялась большая литература, — притом роман их как-то объединил, они увидели друг друга, почувствовали себя еще смелее и сильнее, и хорошо, что роман совпал с совещанием изобретателей в Кремле. Там они выдадут всю правду-матку, потому что эти люди ничего и никого не боятся. И находятся же люди, считающие Лопаткина выдуманным». (10.10.56.)

Отношение к роману Дудинцева как к эпохальному произведению, которое он время от времени перечитывал, осталось с ним на всю жизнь. Владимов говорил мне о том, что и сам роман, и герой Дудинцева были ему очень близки. Он считал, что это был первый в советской литературе герой, который боролся с самой системой: «Понимаете, в советском искусстве всегда позволялось критиковать бываловых²⁰, этих бездарных бюрократов, которые не понимают и не ценят народные таланты. А система была ни при чем, она, как бы наоборот, восстанавливала “справедливость”, и все ставила на правильные места.

Но у Дудинцева все становилось ясно: бываловы, лысенки, авдиевы — они и есть система. Это была их система на всех уровнях, без которой не было бы на их улице праздника, да что праздника — кровавой вакханалии».

Важный ключ был и в характере главного героя романа, изобретателя Лопаткина, во многом очень похожего на самого Владимова: необычайной целеустремленностью, бескомпромиссностью и трудоспособностью, чувством своего высокого призвания, готовностью нести ради него огромные жертвы и способностью работать, несмотря на почти непреодолимые бытовые трудности. И при этом изобретатель Лопаткин отличался неугасимой готовностью к борьбе — качество, чрезвычайно ценное Владимовым в людях в течение всей его жизни. После публикации романа в журнале в 1956 году в Союзе писателей состоялось специальное собрание, о котором В. Кардин пишет: «Вспоминая жертв репрессий, громко выкликая имена, большая часть аудитории дружно скандировала: “Никогда впредь!”. Разъяренные вопли образца достопамятных лет я помню и по сей день. Популярная детская писательница раскрыла сокровенный замысел Дудинцева: “Он ждет прихода американцев! Они меня повесят на столбе вниз головой!”».

Владимов с удовольствием смотрел на происходящее и слушал выкрики, изредка удовлетворенно комментируя. Он ходил на обсуждения романа в некоторые технические вузы и присутствовал во время дискуссии на филфаке МГУ, о которой позднее писал Александр Чудаков: «Только там устроили обсуждение романа Дудинцева “Не хлебом единым” в самой большой аудитории. Она набилась битком. Какой-то чернявый молодой человек... сказал в своей блестящей речи: “До сих пор советская литература была литературой большой лжи, теперь она становится

литературой большой правды». И закончил выступление стихом Гейне: “Бей в барабан и не бойся”»²¹.

Судьба романа очень волновала Владимова, и все происходящее с ним принималось близко к сердцу. Матери он позднее писал в уже цитированном письме от 18 февраля 1957 года:

«Как видишь, Дудинцева вытеснили из кандидатов на Ленинскую премию, каковым обстоятельством со всей очевидностью доказано, что это те же (далее следует несколько тщательно зачеркнутых слов. — С.Ш-М.). Принципиального различия нет, потому что и в том, и в другом случае абсолютно игнорируется мнение широкого читателя. Если же его учесть, то Дудинцев — первый кандидат, поскольку количество читательских писем в редакции давно перевалило за третью тысячу. Такого отклика еще не знала ни одна книга — за 25 лет существования всех наших журналов».

В то же время в редакции лежал роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», но так как он считался «непроходным», Владимову сказали им не заниматься²².

О своей работе в «Новом мире» Владимов писал позднее: *«Мой редакторский опыт начался с редактирования “Не хлебом единым”, что для человека 25 лет явилось даже некоторым потрясением. Разумеется, ни о каком политическом утеснении не могло быть и речи, я был автору восторженным единомышленником, но по стилю и по сути изображаемого предъявил ему около полусотни упреков, из коих он принял процентов 80.*

В дальнейшем я принимал участие в редактировании “Сентиментального романа” Веры Пановой, “Пяди земли” Григория Бакланова, мемуаров Довженко и Драбкиной²³, другие авторы были менее интересны. По большей же части я занимался “самотеком”, т.е. либо сам читал рукописи, либо полагался на мнение внештатных рецензентов, которые у меня этим нетрудным заработком кормились. Как ни мечталось мне открыть нового Толстого, за все время выловил лишь рассказ Анатолия Клещенко²⁴, оказавшегося просто полузабытым профессионалом, вернувшимся из ГУЛАГа. Рассказ напечатали, и я мог быть доволен, что не упустил его»²⁵.

Время редакторства в «Новом мире» было очень важным для формирования его художественного мировоззрения. Общение с Константином Симоновым, большим поэтом и личностью вдохновляющей, и далее с Александром Твардовским, прекрасным поэтом и редактором, оказало огромное влияние на молодого литератора, тянувшегося к самостоятельному творчеству. К тому же обоим, и Симонова, и Твардовского, очень интересовала и волновала близкая Владимову военная тема. Но при всей глубокой и теплой признательности и благорасположенности к Симонову, он отмечал определенную конъюнктурность своего покровителя: *«Он отклонялся вместе с линией партии, и обычно совершенно искренне».*

С уходом Симонова в редакции все заволновались. Ходили слухи, что на место главного придет Всеволод Кочетов, а это означало бы для Владимова конец сотрудничества и надеждам на прописку в Москве. Он стал серьезно думать о переезде назад в Ленинград — *«...до нового приступа на Москву».* Но главным редактором назначили Александра Трифоновича Твардовского, и его надежды воскресли. Владимир Лакшин пишет, как, придя в редакцию, он встретил Владимова, рассказавшего ему, что после времени полного затишья и пустых комнат в отсутствие редактора, когда угнетенные сотрудники думали о поисках новой работы, жизнь необычайно оживилась²⁶. Владимов считал, что с 1958 года, когда на пост заступил

Твардовский, журнал приобрел более высокий литературный и нравственный уровень. Литературная образованность Твардовского, «*помнящего наизусть всю русскую поэзию*» и называвшего себя «*квалифицированным читателем*», определяла интеллектуальную атмосферу журнала.

Для формирования Владимирова его общение с Твардовским было чрезвычайно важным. Он считал Твардовского прекрасным, «истинно народным» поэтом, и начальные строки стихотворения «Я убит подо Ржевом» он знал наизусть и читал мне дважды: «*От этих строк можно задохнуться. Это самое правдивое и глубокое, что написано о войне в русской поэзии*» — Владимов даже не скрывал, как глубоко волновали его прочитанные строки. О гражданской позиции Твардовского он рассказывал следующее: «*Он искренне и глубоко верил в коммунистическую идеологию, вплоть до самых последних лет, когда, мне кажется, у него стали образовываться серьезные сомнения. Но даже, когда он верил, он был — иной какой-то*». Позже я встретила схожее мнение в дневниках А.П. Чудакова: «*26/XII/78. Если по Spitzer'у искать ключевые словечки у писателей, то у Твардовского это будет — “иной”, “иные”*»²⁷. Позднее Владимов писал: «*Твардовский менялся с каждым годом, превращаясь... в человека сомневающегося, страдающего, в живую рану России*»²⁸.

Из всех людей, о которых Георгий Николаевич мне рассказывал, с наибольшей любовью, почтением и почти сыновьей бережливостью он относился именно к Твардовскому и его памяти.

Период работы в «Новом мире» был чрезвычайно важным для него как личности и писателя. Интенсивное чтение поступавшей в журнал прозы, общение с авторами, широкое поле наблюдения за литературными нравами и литераторами стимулировало страстное желание погрузиться в творчество. Сотрудничество с опытными сотрудниками и блестящими интеллектуалами — Заксом, Кондратовичем, Марьямовым, Дорошем, Сацем и другими — было, как определял Владимов, «*...моим настоящим филологическим образованием*».

Перед ним прошла плеяда талантливых современников — Можаяев, Некрасов, Солженицын, Тендряков, Войнович, Трифионов. От знакомства и дружбы с ними, от чтения их рукописей все больше «*чесались руки*» писать свою прозу.

После трех лет работы редактором в «Новом мире» «*...появилось чувство, что напрасно я сижу в редакции. Нужно выйти из этой рутины и вернуться в журнал автором прозы*». Владимову казалось, что он уже извлек из опыта работы в «Новом мире» все, что журнальная работа на тот момент могла ему предложить. В 1959 году Владимов перешел в «Литературную газету», надеясь, что это даст ему возможность поехать по стране. Расчет оказался неверным: «*Там нужно было сидеть в отделе критики не 5 часов в день, как в “Новом мире”, а все время, от 9-ти утра до 11-ти вечера, пока шли полосы*». Проработав в газете шесть месяцев, Владимов ушел, целиком посвятив себя писательскому творчеству.

В том же году «Новый мир» оплатил Владимову трехмесячную творческую командировку на Курскую магнитную аномалию. Он должен был написать очерк о молодых инженерах-горняках, выпускниках столичных вузов, работавших на КМА, о том, «*как им живется в глубинке на передовом крае*». Из очерка ничего не получилось: «*Его сломали неожиданные впечатления, непредвиденные встречи, не принятые в расчет ассоциации... На КМА я был корреспондентом, “вольным человеком”, который мог брать официальные интервью у специалистов, мог и поселиться в рабочем общежитии, ездить с ребятами в карьер вверх вниз, вверх вниз от начала смены до ее конца, — и не слишком опасаясь уронить авторитет “пославшей меня редакции” пить с ними водку и пиво, закусывая всевозможными занимательными историями*»²⁹.

Образ и история Виктора Пронякина были полностью его писательским вымыслом — такого именно персонажа и несчастного случая на КМА, во всяком случае, до и во время его пребывания не было. Вернувшись, он писал матери в письме от 10 мая 1960 года: *«Поездка была интересная, впечатлений и материала набрал много, сейчас сижу и описываюсь. Хочу, кроме очерка, написать большой рассказ или маленькую повесть из жизни рудокопов, не знаю, как получится»*.

Повесть «Большая руда» была написана с рекордной быстротой. В октябре 1960-го Владимов принес ее в «Новый мир». Начался новый виток его судьбы, о котором он подробно писал в письме матери. Я приведу это письмо полностью, так как оно передает настроение молодого автора и твердую надежду на складывающуюся писательскую судьбу:

«23.12.60.

Здравствуй, мама!

Поездку в Кузбасс пришлось отменить, поскольку повесть прошла быстрее, чем я думал. За три дня ее прочитали в отделе прозы, затем редколлегия, а во вторник состоялось заседание у главного редактора, на коем, после двух часов прений, решено было, что повесть “отличная и надо ее печатать”. Твардовский и Закс высказали несколько критических замечаний и пожеланий, касающихся чисто художественной стороны, с которыми автор согласился без боли в сердце, даже наоборот. В общем на доработку потребуется не более двух недель, а представить рукопись я должен 10 января, так как повесть планируется в мартовский номер.

Вчера заключили договор на шесть авторских листов, 26-го я получу 25% — аванс. Всего, вероятно, будет тысяч 16–17, к сожалению, слишком мало для погашения “национального долга” за кооператив, но тут я сильно надеюсь на генеральскую книгу³⁰, которая уже в работе и должна выйти к лету. Хочу выслать тебе тысячу — 300–400 сейчас, а остальное — по выходе повести в марте. Напиши или телеграфируй, куда выслать, в Питер или Калининград, потому что мне бы хотелось, чтобы ты встретила Новый год у Иды, а не в одиночестве.

В общем, итоги первого “свободного” года более, чем утешительны: три статьи, рассказ, генеральская книга и повесть, которые со временем поставят нашу фирму на прочный финансовый базис. Повесть, сразу после доработки, несу в издательство; думаю, что марка “Нового мира” поможет ей быстро выползти в свет отдельной книжкой.

А к Новому году хочу немного обарахлиться — купить костюм и пальто.

С кооперативом пока дело мутное. Вырыт котлован, но кладку еще не начали и, боюсь, не начнут до весны, хотя руководство жилкома божится, что вселение произойдет к 7-му ноября. Божже, им помоги!

В общем, жду письма или телеграммы с пожеланием, куда выслать деньги. 26-го тут же пошлю телеграфом. Расписание наше такое — Новый год встречаем в Москве, до десятого — делаю повесть, с 16-го по 3-е — в дом отдыха, а числа 4-5-го приеду в Питер.

Всего наилучшего, Жора.

P.S. Лариса передает приветы и поздравления с Новым годом тебе и Иде».

Редакция просила внести кое-какие изменения в рукопись принятой к напечатанию повести. Наступила зима, и они с Ларисой Исаровой поехали в дом отдыха в Новогорск. Утром Владимов интенсивно работал, а после обеда катался на лыжах, что очень любил еще с «суворовских» времен. Ему чрезвычайно хотелось попасть в план на первую половину года. Мечталось, что повесть выйдет в феврале к

30-летию автора:

«Но не тут-то было! Мне сказали, что напечатали бы с дорогой душой, однако, в первом номере идет молодой писатель Войнович, его герой — тоже шофер. Тут шофер, там шофер, получается тенденция. Два номера переждем и вставим Вас в апрельский, 4-й номер. Подошел апрель, номер, как всегда, опаздывал, хотя верстка уже была. Но вдруг полетел в космос Юрий Гагарин. Передо мной извинились, но пояснили, что придется повесть выдирать из номера. Гагарин — полетел вверх, а “Ваш герой летит вниз”, сами, мол, понимаете, получается нехороший намек... Майский номер — День Победы, и вообще майский номер должен быть жизнеутверждающий, Ваша вещь не годится. В 6-м номере у нас Виктор Некрасов, «Кира Георгиевна», у него 50-летний юбилей, отменить невозможно. После же Некрасова нужно дать читателю отдышаться: его вещь мрачная, у Вас вещь мрачная. Опять-таки, будет выглядеть, как тенденция. В 7-м номере Тендряков идет, а Вас пустим в августе».

Уехав на дачу, угнетенный «тенденциями» автор терпеливо дожидался августа, но вдруг пришла телеграмма: «Немедленно в Москву, будем печатать в июле». Оказалось, что Тендряков не поладил с Твардовским, требовавшим изменений в тексте, и забрал рукопись. В печать пошла «Большая руда», опубликованная в 7-м номере «Нового мира».

О «Большой руде» было в свое время написано очень много. Современная ей критика отнеслась к книге очень доброжелательно. Для этого было несколько важных предпосылок. Новый голос молодого писателя, каких ждала читающая публика, воскресающая после удушья сталинизма; глубокий, интенсивный реализм владимовского пера; отголоски шельмовского романа, авантюристичность, азартность и жизнестойкость героя; трагичность конца. Но главным было очень высокое качество отточенной, глубокой, мастерской прозы, свидетельствующей о появлении в отечественной литературе большого писателя. Ирина Роднянская писала: «Не испросив нашего позволения, нас *подключили* к новому для нас куску жизни и чужой душе... и из этой заколдованной сферы не вырваться» — характеризуя при этом построение владимовских фраз как «внутренне напряженное и повелительно напрягающее читателя»³¹. При этом исследователи отмечали, что «Большая руда» является энциклопедией моды, быта и повседневной жизни определенных классов той эпохи: «Постарели те дивы, повывелись те клопы, однако протокольно точные детали, которые должны резать ухо анахронизмом, читаются и теперь с интересом, как точные приметы эпохи»³².

Критики рассматривали повесть и ее героя во всех возможных контекстах: соцреализма, производственного романа, оттепели, молодежной прозы. Позднее Лев Аннинский писал: «...сразу после публикации “Большую руду” как раз пытались вписать в большие “программы”. Мы все мыслили штампами и штампами же пытались их преодолеть. Проще всего было со сменой “действующих лиц”: на место старомодных дуболомов и исполнительных трудяг шли герои новые — молодые интеллектуальные острословы, вольнодумцы с гитарой, пересмешники и балагуры — аксеновские коллеги»³³.

По его мнению, повесть Владимова в этот контекст «не вписывалась», и сверстники, оценившие ее литературные достоинства, все-таки предпочитали новую молодежную прозу и новых героев: «Если Пронякин — летун, выскочка и захребетник (а перед коллективом-де все равно не удастся словчить), то Владимов — вполне понятный мифолог коллективизма. Если же Пронякин — передовик, подающий

пример косной массе (а дура-масса с запозданием прозревает), то Владимов — элементарный мифолог героики. При любой такой «программе» — ничего особенного в повести нет. Так мы тогда мыслили»³⁴.

Владимов с самого начала относился к этим *«запихиваниям в коробочки»*, как он однажды выразился, крайне скептически. Похвальные рецензии и статьи радовали его, но убеждение, что суть книги критиками так и не была до конца распознана и герой не понят, осталась в нем до самого конца.

Владимир Лакшин вспоминает, как на встрече в редакции «Нового мира» с Жаном-Полем Сартром и Симоной де Бовуар прославившийся после публикации повести Владимов говорил о том, что сюжет книги должен быть простым и крепким, как сюжет былины. Именно так он и построил сюжет «Большой руды»³⁵.

Само словосочетание «Курская магнитная аномалия» казалось необычайно притягательным среди советского лексического конформизма. На эту «аномалию» и приезжает тридцатилетний герой повести Виктор Пронякин.

Выбор шофера героем повести хотя и был определен обстоятельствами владимовской командировки, но одновременно заложен глубоко в российской реальности и литературной традиции. Шофер по определению — человек в дороге, и это чрезвычайно привлекало Владимова. И привлекало его одиночество этой профессии — один с баранкой, как писатель — со своим пером: *«В дороге думается и пишется хорошо»*, — сказал мне однажды Георгий Николаевич. *«Ехать — всегда хорошо»*, — утверждает Пронякин. *«...бездомный, неприкаянный, неунывающий Пронякин был мне чем-то в судьбе близок»*, — говорил о своем герое Владимов.

Пронякин хочет осесть на КМА, потому что мечтает о большом настоящем деле, где он мог бы проявить себя первым и лучшим. И, будучи шофером высокой квалификации, он откровенно стремится к достойной обеспеченной жизни. То, что веками было нормой жизни и о чем так ясно писал Александр Чудаков: *«Дед знал два мира. Первый — его молодости и зрелости. Он был устроен просто и понятно: человек работал, соответственно получал за свой труд и мог купить себе жилье, вещь, еду без списков, талонов, карточек, очередей»*³⁶.

В лицемерной советской реальности о таких людях, как Пронякин, принято было говорить: *«Поехал за длинным рублем»*. А все благополучие, на которое надеются Виктор с женой, — свой домишко с садиком и никелированная кровать — символ советского благополучия: *«...и чтоб все было в доме — холодильник, телевизор, мебель всякая»*. То, чего хотят миллиарды людей на планете Земля.

Ирина Роднянская очень пронизательно характеризует владимовского персонажа как человека незаурядного: *«Он настойчивее, одареннее, энергичнее многих из этих других, он мастер своего дела, артист»*³⁷.

Глубже всего раскрывается Виктор Пронякин, когда с переполненным открывшейся, наконец, долгожданной рудой кузовом МАЗа он едет из карьера по самой длинной из своих дорог — не зная еще, что она ведет к смерти. Для него это момент триумфа: *«...ведь это я везу, я, а не кто-нибудь. И не последний я, а первый»*, — то, чего он желал с глубочайшей, неумеренной страстью: перед осуждавшей его за неумное рабочее рвение бригадой, в предчувствии любовного восторга «женульки», но главное — при мысли об общей радости, которую он, Виктор Пронякин, вез для своей страны: *«...это он, Виктор Пронякин, вез первую руду с Лозненского рудника. Руду, которой ждут не дождутся и Хомяков, и Меняйло, и Гена Выхристок и про которую завтра утром, если не нынче же вечером узнают в Москве, в Горьком, в Орле, в Иркутске и в других местах, где он побывал и где не пришлось»*.

Но довести драгоценную руду ему не удалось. С первых слов повести: *«Он стоял на поверхности земли, над гигантской овальной чашей карьера»*, — возникает

подсознательное чувство экзистенциальной тревоги от сверхчеловеческих размеров развернувшегося под его ногами пространства. Как будто карьер с таящейся в нем рудой — Молох, который не отдаст свое богатство без человеческой жертвы. И дорога, по которой придется ездить Виктору и которая приведет его к смерти, — жуткий фантастический дракон: «Казалось, дорога сама, извиваясь, тащит их на себе, а хвост ее все отрастает в темных глубинах». И позднее в тексте это ощущение нечеловечности карьера усиливается: «Он стремительно раздвигался в прорези выездной траншеи, и вдруг хлынул весь в глаза и в уши, чуть затуманенный и плоский, как горы на горизонте, и скрежещущий, лязгающий, ревущий». Во всей природе карьера есть грозное предупреждение: «Сколько он ни жил на свете, и сколько ни колесил, он ни разу не видел таких гроз, какие бушевали ночами здесь, над магнитными массивами курских аномалий...»

Впервые оглядывая карьер, Пронякин дважды употребляет привычный речевой оборот: «Не может быть, чтоб я тут не окопался». Перед его последней дорогой из карьера экскаваторщик Антон несколько раз напоминает Виктору, везущему найденную и пошедшую, наконец, «большую руду», — останавливаться и счищать, скапывать с колес налипшую глину. Но в азарте и нетерпении Пронякин глину не скапывал. И «окопаться» на КМА ему не удалось, потому что, разбившись, он был закопан в эту глинистую землю своих надежд.

В словаре Владимира Даля приводится, кроме основного, пример древнего значения слова «руда» — кровь и существовавшее выражение «разбился до руды». Последнее, что различает слух Виктора в кабине разбившегося МАЗа: сыплющаяся красно-коричневая руда — метафора «запекшейся крови» и громко стучащие капли его собственной крови — он «разбился до руды».

После его смерти начинается ряд характерных советских подстановок: его подретушированная фотография среди других членов бригады печатается в газетах с восхвалениями, его на мгновение представляют героем дня, энтузиастом, погибшим при совершении трудового подвига. Его больше нет, и эти идеологические выкладки его уже не достигнут, как не трогают они и читателя. Но гибель этого коротко и несладко жившего, яркого, незаурядного человека не оставляет равнодушным никого в повести, ни его все простивших товарищей, ни молодого начальника карьера, ни случайно встреченную им молодую энтузиастку.

Последняя не-встреча с жизнью: такси с его любимой «женулькой», заразившейся общим радостным настроением и полной счастливого ожидания встречи с обожаемым Витенькой, проезжает мимо машины, везущей мертвое тело Виктора Пронякина в прозекторскую.

При доскональном знании Пушкина невозможно себе представить, чтобы Владимов не помнил «Путешествия в Арзрум»: «Два вола, впряженные в арбу, медленно поднимались на крутой холм. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы”, — спросил я их. — “Из Тегерана”. — “Что везете?” — “Грибоеда”»³⁸.

Эта встреча-не-встреча на дороге в «Большой руде» не могла быть литературной случайностью. Но реальность трагедии владимовского повествования скорее заставляет вспомнить Александра Галича — советскую инверсию пушкинских строк:

*Так вот она, ваша победа!
«Заря долгожданного дня!»
Кого там везут? — Грибоеда.
Кого отпевают? — Меня!*

Молох, получивший свою жертву, отдал на праздник народу железное кровавое богатство: «Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены земли».

Владимов писал о смерти своего героя: «...гибель же Пронякина возникла из общего трагического ощущения Курской Магнитки, как молоха, перемалывающего людские судьбы, и еще — от ощущения зыбкости наших благих и, как многим казалось, необратимых перемен».³⁹

Как литературный персонаж Виктор Пронякин кончается с появлением индустриальных пластов драгоценной синьки. Дальше началась бы иная рутина жизни со своими радостями, неудачами и заботами. Но это была бы совсем иная повесть, для которой нужен иной герой. И Владимов понял это безупречным инстинктом художника, написав трагичный конец своего неприкаянного шофера.

Но в смерти Пронякина есть и судьба писателя: герой повести погибает от двух разmozженных — пятого и шестого позвонков — причина ранней трагической смерти Геннадия Панарина, глубоко любимого друга по Суворовскому училищу, вместе с которым они в 1946 году посетили опального Михаила Зощенко⁴⁰. И он увековечил своего Генку, назначив ту же смерть своему первому литературному детищу.

Однажды я спросила за ужином: «Георгий Николаевич, за кого из Ваших героев мы выпьем?» — ожидая «генерала», но Владимов, не раздумывая, поднял рюмку и сказал: «За Пронякина!» Я думаю, что, не чокаясь, мы пили и за Гену Панарина.

После публикации «Большой руды» чувство успеха пришло не сразу. В том же номере был рассказ Казакевича «При свете дня» и печатались «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Но через две недели после выхода повести Владимов получил первое теплое письмо от Григория Бакланова, поздравлявшего и хвалившего повесть. Владимов был в «Новом мире» редактором его романа «Пядь земли». Вскоре начался поток восторженных писем и статей, и уже 6 сентября 1961 года, минуя приемную комиссию, Владимова приняли в Союз писателей СССР. Это было необычное нарушение процедуры, но Степан Щипачев призвал коллег не быть «излишними формалистами»⁴¹. Прекрасные рекомендации в СП дали Владимову писатель Владимир Тендряков и заместитель редактора «Нового мира» Александр Дементьев. На состоявшемся заседании секретариата Союза писателей большинством голосов (шесть — за, один — воздержавшийся) Георгий Волосевич (Владимов) был принят в члены Союза писателей.

Состояние Владимова после публикации книги и реакции на нее лучше и полнее всего отражено в письме матери от 31 августа 1961 года, которое я приведу полностью:

*«Здравствуйте, дражайшая родительница моя Мария Оскарловна!
Пишет вам недостойный сын Ваш — Георгий Николаевич Владимов,
истомленный славой, работой, договорами, заработками, ожиданиями, надеждами и котенком Каней. Доказательство моего истомления прилагается — имею в виду фото.*

Это я сфотографировался на предмет поступления в Союз писателей и на шоферские курсы. В Союз меня пригласил персонально Степа Щипачев, очень растроганный моей гениальностью. А на курсы поступаю, имея в перспективе легковой автомобиль, каковой я скоро в состоянии буду приобрести.

Повесть пока идет на “ура” — и справа, и слева. Говорили о ней по радио, по телевизору и в “Литгазете”, называют чуть ли не “подарком к съезду”. Так что ты,

как старый член партии, можешь быть горда, что именно ты являешься тому первопричиной.

Уже готов договор с одобрением в печать в издательстве “Советский писатель” — выйдет книжка в январе-феврале будущего года. Кроме того, заключил еще один договор с “Новым миром” — на новую повесть, о которой объявят читателю в 10-м номере. Пусть глупый подписчик думает, что она уже в портфеле редакции, но ты можешь быть уверена, что она еще у меня в чернильнице. Впрочем, на кончике пера⁴².

И самая моя большая радость — закончил, наконец, второго моего генерала⁴³ (первый⁴⁴ уже вышел 85-тысячным тиражом и поступил в магазины), сдал в издательство и помолился о том, чтобы мне никогда больше не пришлось голодать, бездомничать и заниматься всякой халтурой.

Лариса донашивает наследника — по-видимому, сдаст его в производство в конце третьего квартала. Мы бы хотели, чтобы ты к нам подъехала после его рождения (дорогу мы, само собой, оплатим), посмотреть на Г. Владимирова в роли отца. Если все будет хорошо, так я за один год сумел осуществить весь джентльменский набор: слава, деньги, ребенок, машина. К сожалению, выпадает квартира, так как дом будет готов не раньше мая, хотя все деньги мы уже внесли. Это нас существенно стесняет, поскольку работать будет негде, мне придется снимать на зиму для работы комнату или дачу.

Вот каковы приблизительно наши дела. Лариса тоже вступает в Союз. Уже прошла одну инстанцию, и, кроме того, у нее завязывается альянс с ТЮЗом. Словом, живем — лишь бы не война.

Напиши, как в Одессе, хорошо ли отдыхаешь, чем и как питаешься, как здоровье. Надеюсь осенью побывать также в Питере, но приехать уж на своей машине.

Напиши, нужны ли еще деньги, хватит ли на обратный билет и на первое время в Питере.

Лариса передает самый горячий привет. Всего наилучшего, жму руку, жду письма.

Твой реваншистски настроенный сын — то бишь намеревающийся взять реванш за голодные годы юности.

Целую, Жора».

Получив гонорар за «Большую руду», он сделал свою первую в жизни фундаментальную покупку — однокомнатную квартиру для матери в городе Пушкине под Ленинградом. Рождение на следующий день после приема в Союз писателей дочери Марины сделало сентябрь того года «месяцем счастья», может быть, единственным в его трудной судьбе.

Писатель Георгий Владимов состоялся.

1 Владимир Кардин — литературный псевдоним Эмиля Владимировича Кардина (1921–2008); все ссылки на В. Кардина цитируются по его публикации о Георгии Владимове «И один в поле воин». Воспоминания Кардина содержат много неточной и даже неверной фактической информации о детстве, юности и семье Владимирова. Но их главная и несомненная ценность заключается в описании характера молодого писателя: <https://lechain.ru/ARHIV/145/kardin.htm>.

2 Здесь и далее: все цитаты, выделенные курсивом без сносок, — слова Г.Н. Владимирова, записанные мной во время его приездов к нам в Лондон.

3 В возрасте 10–11 лет с сентября 1941 года по конец мая 1942 года Владимов жил в эвакуации с бабушкой, тетей и маленькой двоюродной сестренкой в киргизском селе

Чалдовар; с сентября 1943 года и до августа 1946 года он учился в Суворовском училище в Кутаиси.

4 Эта статья не была напечатана.

5 Здесь и далее речь идет о хлопотах, связанных с попытками добиться реабилитации Марии Оскаровны Зейфман, а после 1957 года — восстановления в партии. Источник этого и других писем Г.Н. Владимова — архив *Forschungstelle Osteuropa* Бременского университета (FSO 01–130). Я очень благодарна архивариусам Габриэлю Суперфину и Марии Классен за их помощь в моем исследовании.

6 Лат. «из наших», то есть в данном контексте — евреи.

7 Слова из песни «Джанкойский этап».

8 Следующие две строчки зачеркнуты.

9 Полторы строчки зачеркнуты.

10 Г. Владимов. Письмо М.О. Зейфман от 10 октября 1956 года.

11 Нем. «*wir fahren nach Анапа*» — «мы едем в Анапу».

12 Фран. «*Jamais, jamais!*» — «Никогда, никогда!»

13 Алексей Новицкий, университетский друг Владимова, уроженец Орла, вернувшийся туда после окончания университета.

14 Александр Александрович Фадеев (1901–1956). Предсмертное письмо А.А. Фадеева в ЦК КПСС от 13 мая 1956 года было впервые опубликовано в «Известиях ЦК КПСС» (1990, № 10, с. 147–151).

15 Строчки песни из кинофильма «Котовский» (1942) по сценарию Л.З. Трауберг, режиссер А.М. Файнциммер.

16 Александр (Шура) Ведерников — персонаж пьесы А.Н. Арбузова «Годы странствий» (1950). В № 12 журнала «Театр» за 1954 год Владимов опубликовал статью «К спору о Ведерникове», послужившую началом его карьеры литературного критика.

17 Геннадий Панарин, близкий друг Владимова по Суворовскому училищу, погиб в 1950 году в результате несчастного случая на дороге.

18 В одном из писем мать рассказывала, что познакомилась с молодой женщиной, обладавшей перечисленными качествами, и очень хотела бы познакомить с ней сына.

19 Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» был впервые опубликован в «Новом мире» (1956, № 8, 9, 10).

20 Персонаж фильма Григория Александрова «Волга-Волга» (1938).

21 А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. — М.: Время, 2013, с. 403.

22 См. также: Лев Копелев, Георгий Владимов. «Литература существует, как двуконь». Публикация С. Шнитман-МакМиллин // Знамя, 2019, № 7, с. 161–162.

23 В. Панова. Сентиментальное путешествие // Новый мир, 1958, № 10–11; Г. Бакланов. Пядь земли // Новый мир, 1959, № 5–6; А. Довженко. Из записных книжек // Новый мир, 1958, № 4; Е. Драбкина. Москва, 1918 // Новый мир, 1958, № 9; Черные сухари // Новый мир, 1959, № 4.

24 А. Клещенко. Инспектор // Новый мир, 1959, № 4, с. 69–80.

25 Г. Владимов. Из письма Марине Лунд // Знамя, 2010, № 1, с. 153.

26 В. Лакишин «Новый мир» во времена Хрущева. — М.: Книжная палата, 1991, с. 26.

27 А. Чудаков. Указ соч., с. 507.

28 М. Лунд. Александр Твардовский и его «Новый мир» // Знамя, 2010, № 1, с. 153.

29 Г. Владимов. Методом собственной шкуры // Московский литератор, 1962, № 21, 23 мая, с. 3.

30 П. Севастьянов. Неман — Волга — Дунай. — М.: Военное издательство, 1961.

31 И. Роднянская. Движение литературы: В 2 т. — М.: Знак: Языки славянских культур, 2006, т. 1, с. 392.

- 32 Л. Аннинский. Рок, судьба и участь Георгия Владимова // В кн.: Г. Владимов. Собрание сочинений в 4 томах. — М.: NFQ/2Print, 1998, т. 1, с. 7.
- 33 Л. Аннинский. Указ. соч., с. 8.
- 34 Там же.
- 35 В. Лакишин. Указ. соч., с. 61.
- 36 А. Чудаков. Указ. соч., с. 497.
- 37 И. Роднянская. Указ. соч., с. 399.
- 38 А. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. — М.–Л.: Издательство Академии наук, т. 6, с. 666.
- 39 Г. Владимов. Там же стр. 160.
- 40 Г. Владимов. Долог путь до Типперери. — М.: Вагриус, 2005.
- 41 РГАЛИ. Фонд 631. Описание 41. Дело 76. За помощь в работе с материалами РГАЛИ я хотела бы сердечно поблагодарить Дмитрия Станиславовича Лозовского.
- 42 Имеется в виду роман «Три минуты молчания».
- 43 Е. Поздняков, Г. Владимов. Юность комиссара. — М.: Военное издательство, 1962.
- 44 П. Севастьянов. Указ. соч.